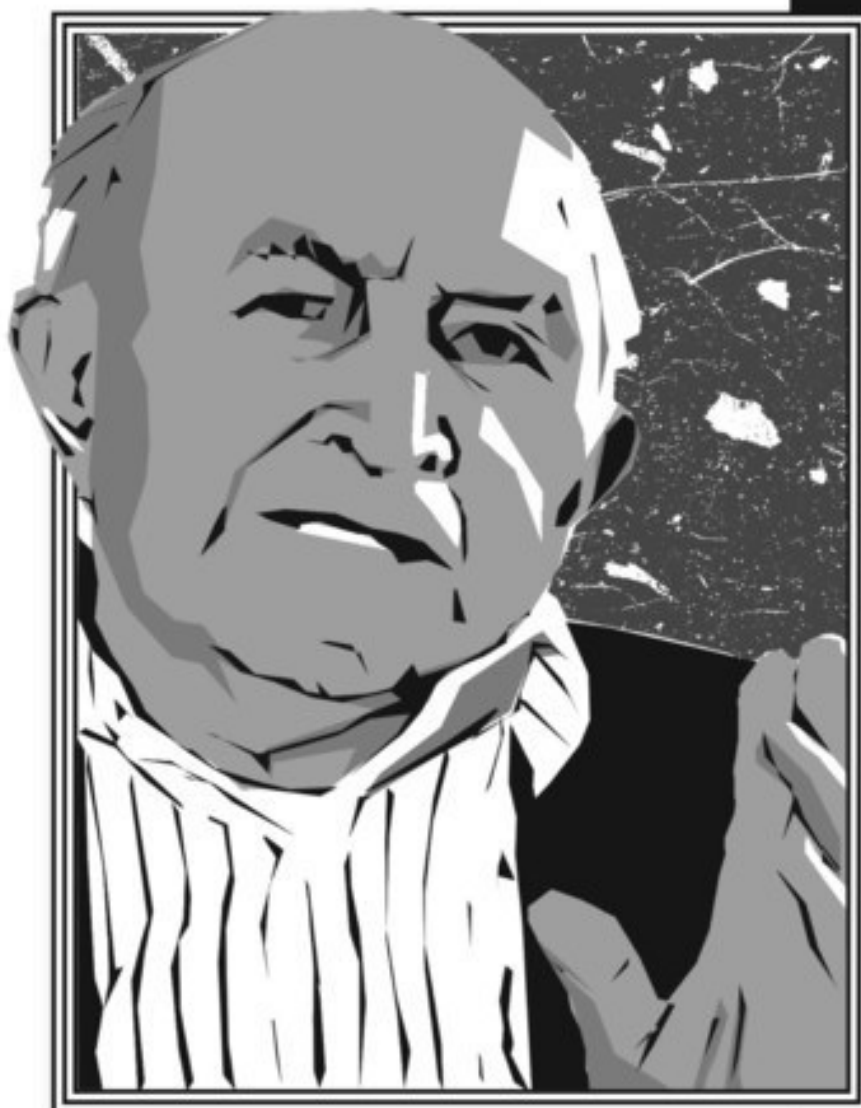


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

И.З. Серман



СВОБОДНЫЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Воспоминания, статьи

Научная библиотека

Илья Серман

**Свободные размышления.
Воспоминания, статьи**

«НЛО»

Серман И.

Свободные размышления. Воспоминания, статьи / И. Серман — «НЛО», — (Научная библиотека)

ISBN 978-5-4448-0366-0

За 97 лет, которые прожил И. З. Серман, всемирно известный историк русской литературы XVIII века, ему неоднократно приходилось начинать жизнь сначала: после Отечественной войны, куда он пошел рядовым солдатом, после возвращения из ГУЛАГа, после изгнания из Пушкинского дома и отъезда в Израиль. Но никакие жизненные катастрофы не могли заставить ученого не заниматься любимым делом — историей русской литературы. Результаты научной деятельности на протяжении трех четвертей века частично отражены в предлагаемом сборнике, составленном И. З. Серманом еще при жизни. Наряду с работами о влиянии одического стиля Державина на поэзию Маяковского и метаморфозах восприятия пьес Фонвизина мы читаем о литературных интересах Петра Первого, о «театре» Сергея Довлатова, о борьбе между славянофилами и западниками и многом другом. Разные по содержанию и стилю работы создают мозаичную картину трех столетий русской литературы, способную удивить и заинтересовать даже искушенного читателя.

ISBN 978-5-4448-0366-0

© Серман И.
© НЛО

Содержание

М. Серман	6
ВОСПОМИНАНИЯ	12
Первые тридцать лет	12
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Илья Захарович Серман
Свободные размышления
Воспоминания, статьи



М. Серман О моем отце

On doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts que la vérité.
Voltaire

Мой отец, Илья Захарович Серман, прожил почти целый век – он умер в 97 лет. Большую часть своей жизни он посвятил истории русской литературы. Известный ученый, автор целого ряда фундаментальных работ, он безусловно был и прекрасным преподавателем, и скрупулезным и внимательным исследователем, и, конечно, глубоко и разносторонне образованным человеком. Но главное, что, на мой взгляд, отличало его от большинства людей, – это необыкновенная работоспособность. Работать он мог в любых условиях. На холодной даче в Зеленогорске, когда писать приходилось на углу кухонного стола, надев пальто, или в душном бунгало в Каткильских горах. Не имело значения, в какой стране или по дороге в какие страны это делалось. Россия, Израиль, Америка, Франция, Италия, снова открывшиеся для него Россия, Ленинград (ставший Петербургом) и Пушкинский Дом – все это выполняло лишь функцию декораций. Главное было – служение науке, что он и делал, порой наперекор тяжелым обстоятельствам, всю свою жизнь, и прекратил лишь однажды, но уже навсегда, на девяносто восьмом году жизни.

22 сентября 2013 года исполняется 100 лет со дня его рождения. Жизнь и судьба моего отца, И.З. Сермана, как и многих его ровесников и коллег – представителей второго поколения советской интеллигенции, повторяла путь, пройденный страной за все это нелегкое время. Его детство, во многих деталях до сих пор неясное даже для его близких, проходило в водоворотах Первой мировой войны, революции и хаосе первых лет советской власти. Довольно неустойчивым было и состояние семьи – родители разводились, а двенадцатилетнего сына пересылали из одного дома в другой: «Отец привез меня на зимние каникулы 1925/26 учебного года из Киева в Москву с тем, чтобы я вернулся к нему. Уехав в Киев, он оттуда написал маме, что не хочет моего возвращения. Не помню точно, чем это мотивировалось, меня это не занимало, я привык к смене родительских домов и городов» (Первые тридцать лет. С. 21). В других воспоминаниях он пишет более откровенно: «Родители перекидывались мной, как футбольным мячом...»

В школе, вернее в нескольких школах, в зависимости от того, с кем из родителей он находился в данный момент, тоже не все было ладно. Шли постоянные школьные реформы, вводился, например, как рассказывал мне он сам, бригадный метод, когда за приготовление домашних заданий отвечал не каждый ученик, а вся бригада (класс). Естественно, что при таком методе отдельным ученикам делать уроки было необязательно, что не способствовало успешному обучению предметам.

Относительно более стабильное юношество отца, когда проявились и развились его интересы к литературе и поэзии, тоже было не безоблачным. Его мать, Генриетта Яковлевна Аронсон (в замужестве Векслер), известная революционерка, член Бунда, в страхе перед царящим в стране террором вышла из партии. При этом она лишилась партийных льгот, а самое главное, принадлежности к правящему сословию. После того как она вновь вышла замуж, отчимом Ильи стал Иван Иванович Векслер, литературовед, впоследствии профессор русской литературы, специалист по А.Н. Толстому. Генриетта Яковлевна в это время была заведующей секретариатом в «Литературном современном». При такой семейной ситуации мой отец автоматически становился сыном служащих, а значит, должен был пройти трудовую школу (то есть поработать 3 года на заводе), прежде чем поступать в вуз. Без этой трудовой школы в вузы

принимали только детей рабочих и крестьян. В течение трех лет отец проработал слесарем на заводе «Знамя труда». Подробности его недолгой заводской карьеры описаны у него в очерке «Первые тридцать лет».

С первых лет студенчества в ЛИФЛИ¹ отцу удалось стать частью той общности студентов, преподавателей и ученых, которой суждено было занять значительное место в культуре и истории Ленинграда 1950 – 1960-х годов. В эту группу входили такие значительные фигуры, как П.Н. Берков, Г.А. Бялый, Д.С. Лихачев, В.М. Жирмунский, Л.М. Лотман, Я.С. Лурье, Г.П. Макогоненко, В.И. Малышев, Б.М. Эйхенбаум, лингвисты и переводчики Е.Г. Эткинд, А.Г. Левинтон, Г.В. Степанов, В.Е. Шор и другие – о многих из них читатель узнает из главы «Первые тридцать лет» и очерка «Из воспоминаний о себе самом». Научное направление выпускника ЛГУ Ильи Сермана – история литературы – было определено в разговоре с блестящим и «незабываемым»² (по словам моей матери Р. Звиной, учившейся там же) – профессором Г.А. Гуковским³. Сложный и очень важный процесс определения места ученика в науке его наставником виден из следующей сцены, описанной в воспоминаниях отца: «В студенческие годы, вероятно в 1935 году, прочитав мою дипломную работу о Батюшкове, Григорий Александрович Гуковский мне сказал: “Вы – историк”. Тогда я обиделся, мне показалось, что он отводил мне второстепенную роль по сравнению с теми, кто может анализировать стилистику и поэтику... Мне понадобилось два десятка лет, чтобы понять, в какой мере история входит в самую сердцевину моей историко-литературной работы и какой методики анализа она требует».

Отец вновь повторил слова Гуковского о своей задаче как ученого в интервью 1990-х годов, данном Сергею Довлатову для «Радио Свобода»: «Вы называете меня литературоведом, а я не литературовед, я – историк литературы!»

В момент, когда отцу стало ясно, чем он будет заниматься как ученый, началась война. Во время блокады отец поступил работать на Ленинградское радио, где в то время уже работали его друг и сокурсник Юра (Георгий Пантелеймонович) Макогоненко, впоследствии видный ученый – исследователь русской литературы, и Ольга Берггольц – уже тогда известная поэтесса. Отца поразило, что на радио блокадного города не было цензуры – на нем иногда выступали просто люди с улицы или солдаты с передовой, случайно попавшие в город, говорившие о том, что у них наболело: о голоде и холоде, отсутствии дров. И никто из начальства на это не реагировал – было не до того.

Блокада началась 8 сентября 1941 года, а в декабре того же года отец пошел добровольцем на фронт. Как имевший высшее образование и техническую подготовку – все-таки три года был слесарем, – получил звание лейтенанта, командовал минометным расчетом. О войне рассказывал мне, десятилетнему, жаждущему узнать побольше о боевых подвигах отца, очень неинтересно: «Мы сидели в окопах, и немцы сидели в окопах. Они на нас смотрели в бинокль, а мы на них».

После контузии в августе 1942-го отец был отправлен в эвакогоспиталь в Череповец, а затем в Ташкент, где был уволен в запас. В эвакуации он познакомился с приехавшей из Испании переводчицей, тоже бывшей студенткой филфака – Р.А. Звиной, ставшей потом писательницей Р. Зерновой, и женился на ней. Там же в 1944 году родилась их дочь и моя сестра Нина. О жизни в эвакуации у нас в семье сохранился смутно запомнившийся мне рассказ о том, как в их крошечной комнате кому-то приходилось спать на столе, а кому-то – под столом. Мне эти рассказы в детстве очень нравились, и они меня очень смешили, хотя какое-то время спустя мне стало ясно, что участникам такого размещения на ночь было не до смеха.

¹ ЛИФЛИ – Ленинградский институт философии, литературы и истории, впоследствии филологический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ).

² «Незабываемый» – название очерка Р. Зерновой о Гуковском (Новое литературное обозрение. 2002. № 3 (55)).

³ Григорий Александрович Гуковский (1902 – 1950) – советский литературовед, филолог, критик, крупнейший специалист по русской литературе XVIII века; умер в заключении.

После окончания войны уже втроем Серманы вернулись в Ленинград, где в 1946 году родился я, их сын Марк. В Ленинграде, в квартире, принадлежавшей прежде его отчиму профессору И.И. Векслеру, которая к этому моменту стала коммунальной, отец с новыми силами принимается за свое любимое дело – пишет исследовательские работы, редактирует издания русских классиков и преподает в Ленинградском педагогическом институте. Мирная жизнь моих родителей продолжалась, однако, недолго.

В 1949 году, в разгар антисемитской кампании по «борьбе с космополитизмом», мои родители были арестованы и осуждены на долгие годы заключения в исправительно-трудовых лагерях по статье 58, пункт 10 – за антисоветскую пропаганду и агитацию. Основанием для их посадки были разговоры между супругами, записанные подслушивающим устройством. Но это все нам стало известно потом, много лет спустя, а тогда моей сестре и мне грозил детский дом и перемена фамилии, гарантировавшие лагерное будущее и для нас. Нам повезло, меня взяли одесские бабушка и дедушка – родители матери, а Нина осталась у бабушки в Ленинграде.

Смерть Сталина и последующая амнистия спасли родителей и дали им возможность вернуться домой. Это не означало, однако, что можно было начать жизнь с того момента, где арест ее оборвал. Пять прошедших в разлуке лет не могли не сказаться на всех четверых, а особенно на детях, для которых эти пять лет были очень важны для развития и формирования характера. Сложная семейная ситуация, жизнь в коммунальной квартире и отсутствие работы – вот то, с чем пришлось иметь дело отцу по возвращению домой. Надо было искать и браться за любую работу, но и это было нелегко – тем, кто возвращался, не доверяли, да и не было прямых указаний сверху, а страх оставался. Вот довольно типичная сцена из того времени, какой ее передает отец в воспоминаниях о Пушкинском Доме: «...одна из моих сокурсниц по университету, теперь сотрудница сектора <Пушкинского дома>, сказала мне: “Вы, Ильяша, не садитесь со мной рядом на заседаниях сектора”. Такова была <...> атмосфера страха, несмотря на прошедший в феврале 1956 года XX съезд со знаменитым докладом Хрущева о сталинских преступлениях».

Через два года такой жизни наступил знаменательный момент – И.З. Серман был принят на должность младшего научного сотрудника в ИРЛИ Пушкинский Дом. Вот как он его описывает сам: «В 1954 году, вернувшись из дальних странствий, я при помощи друзей и доброжелателей получал литературную работу... Так продолжалось до весны 1956 года, когда, проходя мимо Пушкинского Дома, я встретил Юру Фридлендера⁴, которого знал еще по университету. “Илья, – сказал он, – вы идиот, у нас в институте конкурс. Почему вы не подаете, вы ведь ничем не рискуете!” Я тут же направился в канцелярию, где секретарша меня хорошо знала. Она объяснила, какие нужны документы, срок подачи истекал через два дня, но она меня обнадежила – подадите, остальные потом. Как я полагаю, она считала, что никаких шансов пройти у меня нету и потому нехватка документов не будет иметь значения <...> старики проголосовали за меня <...>. Так я совершенно неожиданно стал м.н.с. – младшим научным сотрудником сектора новой литературы...»

И.З. Серману, моему отцу, было тогда сорок три года.

Это там, в Пушкинском Доме, им были написаны и опубликованы фундаментальные работы и бесчисленные статьи, там произошла защита докторской диссертации. В 1976 году, после отъезда дочери за границу, в ИРЛИ прошло разбирательство, и за политическую неблагонадежность отец был изгнан из Пушкинского Дома.

Вечером того же дня, когда произошло судилище в Пушкинском Доме, мать обнаружила в почтовом ящике вызов в Израиль. По странному совпадению точно такой же вызов оказался в тот же вечер и в нашем с женой почтовом ящике – на другом конце города. Такой ход событий предопределил наше решение: всей семьей мы подали заявление на выезд. Разрешение

⁴ Георгий Михайлович Фридлендер (1915 – 1995) – литературовед, сотрудник Пушкинского Дома.

на выезд родителям (но не нам с женой) было дано в самый короткий срок. Мать потом мне говорила: «Видишь, они нас выталкивают!»

И их вытолкнули, после некоторого количества мелких, но очень болезненных и психологически точных унижений. Запомнился такой эпизод: во время лихорадочных сборов перед отъездом, когда на все давали две недели, и родители, и мы целыми днями метались по всему городу, собирая справки, подписи, открепления, разрешения, ставя никому не нужные печати на никому не нужные бумаги и переводя дух лишь к вечеру. В один из таких вечеров отец пришел домой и стоял, не снимая пальто, бледный и абсолютно потерянный. После длинной паузы он поднял на нас глаза и сказал: «Они не разрешили мне взять ни одной книги Григория Александровича!»

Таким потерянным и убитым я его никогда не видел, даже в день изгнания из Пушкинского Дома. Оказалось, что он представлял в специальную комиссию при Публичной библиотеке список книг, которые собирался взять с собой, и из этого списка вычеркнули все без исключения книги его учителя и наставника Г.А. Гуковского. То есть опять ему был нанесен удар в болевую точку. Самым последним и каким-то цинично-ироническим унижением был обязательный «добровольный» отказ от гражданства, за который еще надо было и заплатить немалые по тому времени деньги: по 500 рублей каждому отъезжающему – две месячные зарплаты доктора наук и бывшего старшего научного сотрудника.

В двадцатую годовщину поступления в Пушкинский Дом мой отец – ученый с именем и званиями, но разжалованный Пушкинским Домом в пенсионеры, в 63 года едет в Израиль. Отец выбрал страну, языка и культуры которой он не знал: «... такого плохого представления о том, какая это страна, у нас не было ни об одном уголке земного шара, разве что о Северном полюсе, да и то мы знали, что там лежит лед, а надо льдом вода!» – уже из Иерусалима писал он Е.Г. Эткинду. Однако эта страна была готова предоставить ему тот самый угол кухонного стола, на котором он мог бы работать.

Мы – моя жена и наша пятилетняя дочь – остались. Нам было отказано в выезде, и мы фактически стали заложниками. Несколько месяцев спустя после отъезда родителей моя жена поехала в Москву добиваться пересмотра нашего дела в центральном ОВИРе, и какой-то генерал или полковник злобно шипел на нее, стуча по столу костяшкой согнутого указательного пальца: «Запомните: сгноим, но не выпустим!»

Сгноить не вышло, мы выехали через год, по списку Сайруса Вэнса⁵, а Наташа, воспользовавшись тем, что у нее другая фамилия, пошла в ту самую комиссию в Публичной библиотеке с книгами, запрещенными к вывозу отцу. Чиновница в Публичке посмотрела на корешки книг и, ставя штампы «Разрешено к вывозу», сказала: «Очень странно, мы все эти книги год назад запретили. Уезжал тут такой профессор, Серман». Наташа без лишних слов забрала книги, и через две недели, после нашего приезда в Израиль, отец получил то, с чем он, наверное, распрощался навсегда.

По приезде в Иерусалим мы увидели, что состояние отца, за которого мы побаивались, резко улучшилось по сравнению с тем, что было перед отъездом. (В дни отъезда он напоминал мне себя же в день смерти его матери, нашей с Ниной бабушки. Он тогда все время что-то делал, сутился, бесцельно ходил по комнатам с абсолютно застывшим, покрасневшим лицом и воспаленными, как он говорил: «от конъюнктивита», глазами.) Отец похудел, загорел и был полон оптимизма. Это правда, что он приехал в Израиль абсолютно без денег, без работы, да и в почтенном возрасте. Однако его встретили друзья и коллеги, их усилиями для него была открыта должность на русской кафедре языковедческого факультета Иерусалимского универ-

⁵ Сайрус Вэнс – государственный секретарь США в правительстве президента Картера, во время приезда в Москву в 1977 г. привез список отказников, за которых просил Госдепартамент. Мои родители передали наши имена в Госдепартамент через знакомых американцев.

ситета. Конечно, и ему, и матери, как и всем, было тяжело приспособливаться к незнакомому образу жизни, языку и климату, и, безусловно, его и мать мучили мысли о нас, тревоги за оставшихся за железным занавесом детей и внуку: «Главная новость – у Марика и Наташи взяли документы! И, может быть, они приедут к нам через месяца два-три. Главная тревога была из-за них» – так пишет отец в письме Е.Г. Эткинду. Но, несмотря ни на что, отец на втором дыхании с присущей ему энергией взялся за работу. Вопреки мрачным прогнозам, отец получил не угол стола на кухне, а кабинет, положение профессора, а самое главное – возможность работы, преподавания, международных связей. За тридцать лет работы в Израиле он написал больше, чем за все предыдущие годы. Он читал лекции в университетах многих стран мира, издавался в Италии, Франции, Канаде, Америке, а потом и снова в России. Там же, в Иерусалиме, отец подготовил этот сборник, собираясь его издать, но не успел, отца не стало, и этот его последний труд стал для всех нас его творческим завещанием. Отсюда и цель издания: выполнить его последнюю волю и постараться сохранить содержание сборника и форму такими, какими он хотел. Чтобы не выходить за рамки композиции авторского сборника, добавлены были только две его статьи: «Первые тридцать лет» и «Из воспоминаний о себе самом», в надежде на то, что этими дополнениями не только не нарушится общий характер издания, но и подкрепится и упрочится замысел автора. Оба биографических фрагмента печатаются в том виде, в каком они были получены. Они, по-видимому, им не были отредактированы, и поэтому заметна некоторая шероховатость прозы.

«Первые тридцать лет» – одна из глав оставшихся незаконченными «Окололитературных мемуаров» отца. Она была написана в Нью-Йорке ближе к концу жизни, то есть когда все минувшее рассматривается на некотором удалении, в перспективе прошедших лет. Она писалась на Западе в условиях, давших ему большую свободу выражения и естественное освобождение от некоторых внутренних запретов.

«Из воспоминаний о себе самом» – часть этих же мемуаров, дающая трезвую самооценку своего творческого метода, что довольно большая редкость в научных работах.

В основе сборника, как мне кажется, лежит естественное желание ученого в конце жизни дать читателю наиболее полное представление о проделанной за семьдесят лет работе, что-то вроде финального творческого отчета.

С другой стороны, при чтении сборника создалось впечатление, что автор этой книгой хотел выйти за пределы истории литературы не только в область литературной критики, которая естественно сосуществует с историей литературы, но и в публицистику, современную политику и, что немаловажно, в область чувств и переживаний.

Мой отец был одним из тех людей, чье прошлое было несомненно богато событиями. Но его внутренняя жизнь была скрыта от окружающих за его уравновешенностью и спокойной и невозмутимой внешностью. В ответах на вопросы личного характера краткость и сдержанность его ответов заводили любопытствующего в тупик и пресекали все последующие попытки это сделать.

На вопрос одного из его коллег о том, как повлияло на него пребывание в исправительно-трудовых лагерях, он отвечал: «Лагерь основательно укрепил мое здоровье. Физическая работа на открытом воздухе – лучшая закалка для организма».

Когда в детстве после урока географии, на котором упоминалась Колыма и климат Заполярья, я с ужасом ребенка, выросшего в Одессе, спросил, было ли ему холодно на Колыме, он сказал: «Да, было холодно, но потом нам выдали трофейное японское обмундирование, куда входили настоящие меховые шапки, закрывающие все лицо до самых глаз».

В сборнике, для которого мой отец неспроста выбрал название «Свободные размышления», мне видится желание выйти за рамки чисто научного подхода и рассказать о «себе самом».

История появления сборника сама по себе интересна, поскольку в его создании участвовало несколько разных людей в разных странах, а также потому, что, как и во всех литературных историях, здесь налицо и детективный элемент, о котором ниже. Однако прежде всего мне бы хотелось выразить глубокую благодарность главному редактору издательства «Новое литературное обозрение» Ирине Дмитриевне Прохоровой за проявленные ею интерес и энтузиазм по поводу будущего издания.

Список, а вернее, несколько списков, составленных и несколько раз переработанных отцом, были найдены и сохранены после смерти отца моей сестрой Н.И. Ставиской. Ею же было найдено большинство работ, а некоторые статьи были ею лично целиком перепечатаны с часто слепых, плохо сохранившихся оригиналов.

Моя жена, Н.К. Новохацкая, проделала огромную работу по организации, сканированию и редактированию сборника, подготовке примечаний и прочего аппарата издания. Она же сохранила рукопись «Первых тридцати лет», посланную ей автором после написания.

В работе над сборником большая поддержка и неоценимая помощь были оказаны мне Еленой Довлатовой.

Теперь о детективном элементе. Наступил момент, когда почти все работы были собраны, но не хватало лишь одной, очень важной и интересной, о которой много писал отец в эссе «Из воспоминаний о себе самом», – «Язык мысли и язык жизни в комедиях Фонвизина». Этой статьи не было нигде: ни у меня, ни у моей сестры, ни у оставшихся в живых коллег отца. Она была и в списке отца, и в библиографии⁶, но номера страниц издания, приведенные в библиографии, указывали на совсем другую статью на английском языке. Единственный человек, которому удалось разгадать загадку «Фонвизина», была Ирина Роскина. Во время очередного поиска она неожиданно наткнулась на «Фонвизина», который по какой-то причине был сверстан вместе с другой статьей на английском языке.

Нельзя также не упомянуть и находку Ирины Казовской – докторантки отца, которая предоставила нам ни больше ни меньше как главу «Из воспоминаний о себе самом», о которой написано выше.

Вклад всех этих людей в создание сборника заслуживает глубокой благодарности и признания.

Судя по тому, в каком состоянии находились незаконченные мемуары и заметки с анализом его собственных работ, мой отец планировал продолжать работать и дальше.

Я надеюсь, что этот сборник, его содержание и сам факт его публикации будут ответом на желание отца высказать свои мысли широкому читателю, а также действием, которое продлит если не его жизнь, то память о нем.

Нью-Йорк, 2013 год

⁶ Алексеева Н.Ю. Библиография трудов И.З. Сермана (к 90-летию со дня рождения) // XVIII век. СПб., 2004. Сб. 23. С. 371 – 397.

ВОСПОМИНАНИЯ

Первые тридцать лет (воспоминания)

Я сам не помню о своем первом преступлении, но тетя Муся (Мария Яковлевна)⁷ долго не могла забыть его. Я еще не говорил, видимо, зубы у меня прорезывались. А у тети был кошелек из тонкой телячьей кожи. Он ей очень нравился. Как-то он мне попался, и я его съел, конечно, не целиком, но так изгрыз, что пришлось его выбросить. Тетя мне долго не могла простить такого варварства. Значит, это происходило где-то зимой 1913 – 1914 годов.

В столовой зачем-то передвигали большой буфет. Я, конечно, вертелся под ногами у рабочих, и тут сверху слетела увесистая часть верхней отделки и прямо упала мне на голову, да не плоскостью, а гвоздем, на котором она держалась. Мне было очень больно, с головы капала кровь, но я заплакал тихо и пошел к себе, пока меня не заметил кто-то и не помог. С тех пор я буфет обходил.

А вообще я столовую любил. Это была самая большая и светлая комната в дедушкиной квартире на втором этаже на Румянцевской улице (переименованной в Советскую) в городе Гомеле. Во главе стола сидел дедушка и читал газету, а я сидел на противоположной стороне стола на высоком стуле и пил какао.

Была еще [пра]бабушка Песя, дедушкина мама. Она меня не любила и не пускала к себе в комнату, дверь которой выходила в столовую, а мне туда очень хотелось зайти именно потому, что она не пускала. Дедушка, Яков Львович Аронсон, был бухгалтером, не знаю, как тогда это называлось, Гомельского отделения Средне-Азиатского банка. Внизу, в первом этаже, помещалась контора банка, а во втором мы жили. В 1917 году дедушку перевели в такую же контору банка в Кишинев, тогда российский город. С дедушкой уехала тетя Муся и мой старший брат Тема⁸, которому тогда было 11 лет.

Никто не предполагал, что скоро Кишинев окажется «заграницей» и что с бабушкой и дедушкой мы никогда уже не увидимся. Дедушка еще из Кишинева присылал маме свои статьи на французском языке, но я их тогда не мог прочесть и потому знаю только, что они были философского содержания. В Израиле дедушка выпустил книжку, опять-таки философского содержания, на иврите.

С тетей Мусей и Темой увиделись мы, когда они сначала переехали в Берлин, к дяде Грише⁹, и только оттуда к нам – сначала, в 1922 году, тетя Муся в Гомель, а потом, в 1924 или 1925 году, – Тема, уже в Москву. Тогда, когда надо было, как я сейчас понимаю, менять румынский или немецкий паспорт Темы на какое-нибудь советское удостоверение личности (паспортов тогда еще не было!), ему вместо Лейпцига как места рождения поставили Москву, чем спасли от вполне возможных неприятностей.

Возвращаясь к разрозненным воспоминаниям моего вполне «буржуазного» детства, до 1917 года. Еще есть бабушка Ольга, которую я плохо помню. Она, по-видимому, вела хозяйство. По рассказам ее уже взрослых детей, она отличалась красотой и глупостью. Пыталась

⁷ Мария Яковлевна Аронсон (1894 – 1980) – тетка И.З. Сермана.

⁸ Артем Александрович Экк (1906 – 1943) – единокровный брат И.З. Сермана, погиб в ополчении под Ленинградом.

⁹ Григорий Яковлевич Аронсон (1887 – 1967) – известный социал-демократ, активный деятель Бунда (еврейская социалистическая рабочая партия, действовавшая в России, Польше и Литве с 90-х гг. XIX века до 40-х гг. XX века), арестован несколько раз после 1917 г., в 1921 г. выслан в Туркестан, откуда эмигрировал на Запад, умер в Нью-Йорке.

заниматься торговлей в Варшаве, но прогорела. Все это поздние и смутные рассказы старших. Что же касается красоты, то она видна и на фотографиях.

Что же я помню: мне два или три года. У меня бонна Эвочка, очень милая молодая женщина, как меня позднее уверяли, я ей говорил: «Эвочка, какая вы прелестная». Не знаю, не было ли это придумано взрослыми.

С Эвочкой мы ходили гулять в недалекий Лермонтовский садик (так он почему-то назывался). У меня есть сабля, ей я разрубаю пополам дождевого червя, который мне кажется большой змеею.

Мамы¹⁰ я в это время не помню, наверно, она была, но как естественное содержание жизни не запомнилась. Зато папин¹¹ приезд запомнился (очевидно, с фронта), он где-то под Ригой служил и позднее так рассказывал о конце войны: «Мы сдали Ригу и разъехались по домам».

Разумеется, я тогда этого не мог бы понять, но семейное предание сохранило будто бы сказанное мною; когда я вошел утром в спальню родителей, то первый мой вопрос к совсем незнакомому мужчине (а это был папа) был таков: «Это ваши сапоги?» Было мне тогда года три, и я вполне мог это сказать, увидев высокие папины сапоги.

Из моих игрушек того времени я помню только большой строительный ящик и саблю, о которой уже писал.

Далее начинаются крепко засевшие в память, но сомнительные по своей временной прикреплённости воспоминания. Так, например, мне кажется, что я помню живого городского на углу Румянцевской и пересекающей ее улицы... Другое воспоминание: по Румянцевской движется толпа, впереди которой идут люди с портретами в руках. Думаю, что это была патриотическая манифестация в связи с началом войны 1914 года, а может быть, с какими-то победами? Не знаю, а расспросить не пришлось.

Видимо, уже 1918 год, мы живем в деревне Иванец под Минском: мама, папа и я. Папа здесь врачует, и платят ему за лечение натурой – птицей и другой живностью, однажды папа в санях привез черного баранчика.

С деревенскими ребятами я дружу, и они подговорили меня отрезать с папиного дождевика блестящие перламутровые пуговицы. Когда это обнаружилось, был большой скандал. Иванец сохраняется в моих воспоминаниях только зимним.

Тут место действия меняется, по-видимому, папу мобилизуют в армию, а мама со мной уезжает в Гомель, где сначала работает в Бунде, а потом вместе с левой частью Бунда вступает в 1920 году в РКП(б). Я тогда этого не понимал, но сообщаю для относительной стройности повествования.

Где-то в это время, но летом я хожу в парк Паскевича¹², где в прудах плавают лебеди, а возле дворца стоит конная статуя, которой я очень боялся, так как смотреть на нее я мог только снизу. Как я узнал позднее, это был памятник Понятовскому¹³, переданный Польше по Рижскому мирному договору¹⁴ в 1920 году. Я хожу в детский сад, именно хожу, потому что никакого транспорта в городе нету, а детский сад расположен на Замковой улице, далеко от нас.

¹⁰ Мать И.З. Сермана – Генриетта Яковлевна Аронсон (Векслер) (1885 – 1965), социал-демократ, член Бунда, работник Наркомпроса, ответственный секретарь «Литературного современника».

¹¹ Отец И.З. Сермана – Зелик Абрамович Серман (1885 – 1965), в Первую мировую войну военный врач, впоследствии практикующий хирург.

¹² Иван Федорович Паскевич (1782 – 1856) – знаменитый русский генерал, подавивший восстание в Польше в 1831 г.

¹³ Памятник князю Юзефу Понятовскому (1763 – 1813), польскому князю и генералу, маршалу Франции, работы датского скульптора Бертеля Торвальдсена.

¹⁴ В действительности Рижский мирный договор был подписан 18 марта 1921 г. в Риге и завершил советско-польскую войну (1919 – 1921).

Мне шесть лет, у меня валенки с прохудившимися подметками. Чтобы я не так страдал от холода, мама ведет меня за руку в детский сад через весь город и читает мне «Крокодила» Чуковского; а в детском саду кормят очень вкусной маисовой кашей. И я знаю, что эту кашу дает нам Ара¹⁵ – расшифровки я не знаю, но знаю, что это какая-то американская организация. А каша очень вкусная и долго помнится, как и само название – маис.

Не помню, как и почему, но мы втроем в Киеве – папа, мама и я. Папа – главный врач военного госпиталя, идет война с поляками. Тут я впервые увидел на улице танки. Живем мы на Фундуклеевской, в гостинице, недалеко от оперного театра, [куда] папа меня брал с собой, но очень мало запомнилось. Понравилась только «Вальпургиева ночь». И тут, по-видимому, мама уехала в Гомель, а мне папа сказал, что она нас бросила. Я огорчился и заплакал...

Потом помню, что мы плывем из Киева на барже к Чернигову, где пересаживаемся в поезд и едем в Ромны, там живем в вагоне на станции. Там я уже умею читать. Читаю сказки Пушкина и рисую. На большом листе плотной ватмановской бумаги я нарисовал различные виды средневекового оружия и послал маме с таким заголовком: «Разное оружие для мамы». Потом мне часто припоминали это название.

Еще помню, что у меня была шинель под мой рост и буденовка, которой я особенно гордился. Есть фотография – я с папой, оба в шинелях и в буденовках. Буденовки – это шапки особого образца. Их каждый может увидеть в кино, в фильмах о Гражданской войне. В Ромнах мы жили недели две в вагоне, где было очень удобно, а до этого, по приезду, мы жили в станционном помещении, и я спал на большом столе, покрытом чем-то зеленым, вероятно, сукном. Я в Ромнах не скучал, хотя папы не видал весь день и практически был один. Но так как наш поезд стоял на станции, то непрерывно двигались составы, раздавались сигнальные гудки – словом, шла своя, очень мне интересная жизнь. Поэтому я не скучал. Сколько мы там прожили и как вернулись в Киев, а может быть, меня переправили в Гомель к маме, – не помню. Тут в моих воспоминаниях неизбежная путаница из-за того, что родители мною перебрасывались, как мячом.

Почему-то Киев мне помнится только летним. Я живу с папой на самой окраине города, куда даже трамвай не доходит. Это Лукьяновка, а живем мы в первой городской больнице, бывшей Еврейской, построенной Бродским¹⁶. Огромная территория, множество корпусов, все в зелени, роскошный простор для игр, особенно в сыщиков и разбойников.

Мы живем с папой, которого я почти не вижу; сначала он главный врач, потом присылают главврачом коммуниста – Вельского, а папа становится заместителем. У Вельского – дочка, мы с ней дружим, а вообще в играх участвует огромное количество детей медперсонала. Одно из мест наших игр – зады больницы. Они выходят к Бабьему Яру¹⁷ – тому самому, который стал знаменит в войну 1941 года.

Рядом с домом, где я живу с папой, – огород, где так приятно рвать еще теплые помидоры, а возле кухни стоит бочка, в которой плавают малосольные огурцы. Мне 10 – 11 лет, и я влюблен, но не в девочку, а во взрослого мальчика, ему 14 лет, его зовут Женя, а фамилия у него Рута. Мать его – санитарка. Чем он меня обаял, не знаю, только помню, что я замирал от счастья, когда его видел, а он принимал мое обожание спокойно.

Возраст детворы, участвовавшей в играх, простирался от 10 до 15, но никаких элементов эротизма не наблюдалось в отношениях, хотя девочки попроще не носили нижнего белья и, шутя, говорили: «Ты что, у меня кино увидал?»

¹⁵ АРА (сокращение от American Relief Administration) – американская правительственная организация помощи пострадавшим.

¹⁶ Больница была основана «для неимущих евреев» по ходатайству княгини Васильчиковой в 1862 г. и расширена на средства мецената Бродского в 1883 и 1885 гг.

¹⁷ Бабий Яр – урочище в северо-западной части Киева, место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, караимов, а также советских военнопленных немецкими оккупационными войсками в 1941 г.

В «город», то есть в центр, я попадал редко и знал его плохо. Правда, у меня появились знакомые мальчики по школе, некоторые жили в центре, и я помню здание горсовета (бывшей городской Думы), с балкона которой говорил о чем-то речь Гамарник¹⁸; может быть, это был Первомайский праздник. Речь я не запомнил, но удивил он меня большой бородой.

До того события (о котором расскажу позднее) я был вполне советским ребенком, без каких-либо сомнений политического содержания. В январе 1924 года, когда мама, бывшая тогда директором школы в Гомеле, где я учился, нам, собранным в актовом зале, объявила о смерти Ленина, я искренне заплакал, хотя вообще-то не был плаксивым ребенком.

Помню приезд тети Муси (Марии Яковлевны) из Германии, где она изголодалась и приехала страшно исхудавшей. Помню, что меня удивили ее рассказы о том, что «gute Butter», то есть нормальное масло, было совершенно недоступно. Опять-таки я не заинтересовался, почему немцы голодают, хотя помнил рассказы мамы о Германии 1906 – 1912 годов. Она жаловалась, что еда немецкая невкусна, суп, например, делали сладкий... Но никакого намека на голод не было.

Тогда же по дороге из школы я прочел на стенде в «Рабочей газете» «Соль» Бабеля, был поражен силой таланта и совершенно не усомнился в правомерности поведения героя рассказа.

Не могу сказать, что всем лучшим в себе я обязан анекдоту, но я убежден, что именно анекдот был моей школой скептицизма и свободомыслия. Первое знакомство с политическими анекдотами началось в 1926 – 1927 годах. Отец привез меня на зимние каникулы 1925/26 учебного года из Киева в Москву с тем, чтобы я вернулся к нему. Уехав в Киев, он оттуда написал маме, что не хочет моего возвращения. Не помню точно, чем это мотивировалось, меня это не занимало, я привык к смене родительских домов и городов, а Москва мне была интересна.

В Москве, во всяком случае, партийная или околопартийная интеллигенция жила в это время той борьбой, которая шла в партии и отголоски которой я помню – например, номера «Ленинградской правды» в газетных киосках Москвы 1927 года, так как «Ленинградская правда» оказалась рупором т.н. Ленинградской оппозиции (Зиновьев – Каменев). 7 ноября 1927 года я не ходил на демонстрацию, но бродил по городу и в середине дня попал на Моховую, где под одним из балконов толклись прохожие и кто-то объяснял, что с балкона говорили речи и ораторов закидали калошами. Уже дома мне сказали, что будто бы это были троцкисты, пытавшиеся устроить свою контрдемонстрацию. Эти внешние и как будто разрозненные факты прекрасно укладывались в разговоры взрослых, которые не считали нужным при мне молчать о внутрипартийной борьбе. Она тогда еще частично отражалась и в газетах, то есть была вполне легальной темой. О том, что происходило в Московском университете и других учебных заведениях, рассказывал мой старший брат Тема. Он учился на киноотделении этнологического факультета, то есть изучал историю и теорию кино, которое к этому времени уже потребовало теоретического осмысления. Брат не жил дома, и потому каждый его приход приносил информацию о листовках, дискуссиях, голосованиях и, конечно, анекдоты. Все это кипение внутрипартийных страстей мне было интересно, но не очень понятно, и потому в подробностях не запомнилось. Зато анекдоты запомнились, поскольку они циклизировались вокруг хорошо известных имен, главным образом Сталина и Троцкого. Некоторые из них я сохранил в своей памяти и не старался забыть тогда, когда политический анекдот был официально объявлен «антисоветской пропагандой». Вот один из них: Сталин и Троцкий спорят. Каждый из них обвиняет другого в том, что тот «не согласен с Лениным». Наконец, Троцкий прекращает спор, выходит из кабинета и за дверью говорит: «Действительно, в одном я не согласен с Лениным, не каждая кухарка может управлять государством».

¹⁸ Ян Борисович Гамарник (Пудикович) (1894 – 1937) – советский военачальник, государственный и партийный деятель. Застрелился накануне неминуемого ареста по делу Тухачевского.

А вот другой анекдот, видимо более старый, но приуроченный к ситуации: в Москву из Бердичева или Орши, то есть из городов с преобладанием евреев, приезжает очень старый и очень мудрый ребе. Узнав о его приезде, советское правительство приглашает его в Кремль на заседание Совнаркома, где его просят указать выход из того трудного положения, в котором оно, правительство, находится. Ребе отвечает: «По-моему, есть три выхода – Троицкие, Спасские и Боровицкие ворота». То есть мудрый ребе предлагал совсем уйти из Кремля – отказаться от власти.

Были и другие анекдоты, не так непосредственно отражающие внутривнутрипартийную борьбу, но в них чувствуется еще не унифицированное сознание. Таков анекдот о конгрессах Коминтерна. Вопрос: «Почему на очередном конгрессе не было представителей от папуасов Новой Гвинеи?» Ответ: «Какой еврей согласится продеть себе в нос кольцо?»

Были анекдоты, в которых фигурировала Н.К. Крупская, пытавшаяся играть какую-то роль (примирительную) во внутривнутрипартийной борьбе: Сталин вызывает к себе Крупскую и говорит ей: «Если вы не перестанете вмешиваться в то, что вас не касается, я назначу вдовой Ленина Землячку¹⁹». Дополнительная ирония этого анекдота в том, что если Крупская никогда не обладала привлекательной внешностью, то Землячка славилась своим безобразием.

Эпоха расцвета политического анекдота, так мне кажется, кончилась где-то к 1929 году, когда один за другим последовали большие политические процессы – Шахтинское дело²⁰, процесс Промпартии²¹, Московского бюро большевиков²². Последний процесс происходил уже в 1930 году, и вдруг оказалось, что на нем обвиняемые – это мои знакомые! Вернее, родители моих соучеников по 44-й школе БОНО (Бауманского района Москвы). Раньше школа эта называлась 14-й Центросоюзской, так как Центросоюз давал на нее деньги и в ней учились дети его служащих. Одна девочка, Ева Басова, училась со мной в 6-м и 7-м классах, ее отец был в числе обвиняемых. Был там и Петрунин – отец Оли Петруниной, которая училась в параллельном классе.

Отчеты о политических процессах, о которых я говорю, печатались тогда в газетах, а я начал читать газеты в 1923 году и долго не мог отстать от этой привычки. Евы Басовой в 1930 году у нас уже не было, она после 7-го класса куда-то ушла. Я был у нее раза два дома (они жили в Замоскворечье, на Пятницкой) и видел издали ее отца, который со мной поздоровался и ушел в свою комнату, может быть, он сидел за общим столом с нами. Во всяком случае, у них была отдельная квартира.

Увидеть знакомую фамилию в судебном отчете было очень странно. Из текста этого отчета трудно было понять, обвиняются ли подсудимые в том, что чем-то или в чем-то вредили, или вся их вина в том, что они сохранили какие-то связи с меньшевиками в эмиграции. Центральной фигурой на процессе был Громан²³, видный экономист, в прошлом – меньшевик. С его фамилией, которую до процесса я не знал, связана перемена моего отношения к политическим процессам.

Я часто бывал в доме маминых знакомых, Вайнбергов, иногда ночевал у них. Глава семьи, юрист, где-то служил юрисконсультантом и был копией карикатурных буржуев: высокий, с большим животом, лысый и потому бритоголовый. За общим ужиным столом глава семьи, Абрам

¹⁹ Розалия Самойловна Землячка (1876 – 1947) – российская революционерка, советский партийный и государственный деятель. Прославилась своей жестокостью по отношению к пленным белым офицерам и солдатам.

²⁰ Дело по обвинению во вредительстве и саботаже большой группы руководителей и специалистов угольной промышленности в Шахтинском районе Донбасса, 1928 г.

²¹ Крупный судебный процесс по делу о вредительстве – 25 ноября – 7 декабря 1930 г.

²² Имеется в виду процесс «Союзного бюро ЦК меньшевиков» 1930 г.

²³ Владимир Густавович Громан (Горн) (1874 – 1940) – статистик, член Президиума Госплана СССР, член коллегии ЦСУ РСФСР. Осужден на 10 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Верхнеуральском политизоляторе, затем в Суздальском ИТЛ, где и умер 11 марта 1940 г.

Нилович, сказал своему собеседнику: «*Ставят* процесс Громана». Нажима на слово «ставят» не было никакого; может быть, поэтому оно меня так поразило своей деловитостью, будничностью. Глагол «ставить» в переносном смысле обычно употреблялся (тогда, да и сейчас) применительно к театральным «постановкам». Ироническое его употребление как-то вдруг объяснило мне, зачем нужен этот процесс и для чего его затеяли.

Тогда, в этом процессе 1930 года, была хотя бы видимость правдоподобия: меньшевики ведь действительно были врагами советского строя, и можно было предположить, что они эту борьбу продолжают... Но из самого процесса, то есть из стенографического отчета, ничего этого видно не было, а тут еще это словечко «ставят» и знакомые мне по школе имена центросоюзовских работников...

В отличие от старших, основное, что нас интересовало, была литература, вернее поэзия. В ней была наша – тех, кого она занимала, – внутренняя жизнь, а политика была чем-то внешним, делом старших, нас не касающимся. Поэтому я и назвал свои отрывочные воспоминания околολитературными. Дело в том, что я был читателем, и заинтересованным читателем. Сам я стихов никогда не писал, но живые, только что появившиеся стихи входили в сознание и переживались очень интенсивно.

Началось мое активное участие в литературе по двум направлениям. Об одном вспоминаю не без стыда – я сделал у нас, в седьмом классе, нечто вроде изложения – реферата книги Переверзева²⁴ «Творчество Гоголя», в которой автор, как тогда казалось не только мне, с блеском доказал мелкопоместную природу творчества Гоголя.

Не знаю, как терпела эту схоластику наша любимая словесница Анна Ивановна. Знаю только, что года через два она от работы в школе отказалась: «Я воспитана на Блоке, – говорила она, – а то, что происходит в школьных программах, мне не нравится». Анна Ивановна была старинная московская жительница, замужем никогда не была. Жила она с братом и сестрой в уютном небольшом особнячке, которых в 1920-е годы еще много сохранялось в Москве. Позднее, в 1930-е годы, этот особнячок понравился какому-то важному чину из НКВД, и всех его обитателей выслали из Москвы куда-то далеко, слава Богу, не в лагерь. Потом они вернулись, но уже в другую квартиру.

У нас, в седьмых классах, где в основном учились 14 – 15-летние, возникла идея литературного кружка для обсуждения новинок литературы. Такой новинкой оказалась комедия Безыменского «Выстрел»²⁵, где, как запомнилось, было две удачных фигуры, две партийные тети, одна из которых так и называлась: парттетя Мотя. Больше ничего об этой пьесе не помню.

Теперь перехожу к поэтическим впечатлениям: подосновой отношения к современной поэзии был Есенин. Почему-то то, что сейчас кажется несколько не трогаящим и даже слабым, тогда находило самый глубокий, самый сердечный отклик. И ведь до сих пор помню: «по тому ль по утреннему свею, по тому ль песку, поведут меня с веревкою на шее полюбить тоску»...

Может быть, помогала официальная борьба с «есенинщиной», в которой особенно усердствовала «Комсомольская правда», где – не совсем кстати, но вспомнилось – совершенно серьезно писалось, что совместное спанье супругов в одной кровати понижает производительность труда на 8 %! Практически этот рецепт нас не касался, но запомнился своей неожиданностью.

Есенинство поддерживалось дружбой с Сережей Сверченко, красивым и очень под Есенина себя державшим. Опять-таки некстати вспомнился рассказ Сережин – его родной дядя, будучи в командировке в Берлине (от кого и зачем – как-то это не спрашивалось), увидел в витрине книжного магазина книгу о расстреле царской семьи и себя на одной из фотографий...

²⁴ Валерьян Федорович Переверзев (1882 – 1968) – советский литературовед, основатель одного из направлений марксистского литературоведения. «Творчество Гоголя», 1914 г.

²⁵ Александр Ильич Безыменский (1918 – 1958) – советский поэт. «Выстрел» – пьеса в стихах, 1929 г.

Дома был четырехтомник Есенина с белой обложкой, на которой были нарисованы изящные березки. До сих пор помню эти березки. С Есениным и связано мое первое знакомство с поэзией, «презревшей печать». Сеня Скоблов, мой друг и соученик, показал мне переписанное от руки фиолетовыми чернилами на листке бумаги, вырванном из клетчатой школьной тетрадки, стихотворное «Письмо к Демьяну Бедному». В этом «Письме», в довольно посредственных стихах, Демьяна осуждали за оскорбление Христа в его антирелигиозных поэмах. «Письмо к Демьяну Бедному» мне не понравилось и не запомнилось, не знаю, принадлежало ли оно действительно Есенину. Уже в шестидесятых годах, когда Есенин получил, наконец, официальное признание, я спрашивал у специалистов об этом «Письме». Они отрицали его принадлежность Есенину, но сомнения у меня остались до сих пор, ибо Демьян сейчас тоже вполне официально признан, гонения на него давно забыты, и признание этого «Письма» есенинским очень осложнило бы работу составителей собрания сочинений. Так мне казалось в семидесятые годы.

Началось увлечение Багрицким, его книжкой «Юго-Запад». Эта поэзия открывала другой мир – мир веселья, красоты, героики, хотя бы и контрабандистской. «От черного хлеба...» внушало какое-то не вполне осознанное чувство тревоги, непрочности жизни и на фоне Жаровых и Безыменских звучало торжественно и мажорно. А Жаров со своим первым томом «Собрания сочинений» просто смешил.

Вслед за Багрицким, как бы устремляясь за новизной, увлекся я конструктивизмом, и особенно Сельвинским, его стихами, а не поэмами, над которыми я откровенно скучал, но относился уважительно. А нравилась мне «Песня о ветре» Луговского, менее конструктивная, но чем-то, каким-то лиризмом, в ней скрытым, действовавшая больше, чем невыносимо длинный «Пушторг». Вечер конструктивистов в 1929 году в Политехническом кончился скандалом. Сначала все было очень хорошо: выступали Сельвинский со своими полустихами-полупеснями, затем Луговской с «Песней о ветре», затем кто-то еще, но когда Адуев стал читать «Письмо Маяковскому», где кроме всяческих пасквильных строк была и такая: «а вы хотите, чтоб вам приплатили», – на сцену из зала бросились агрессивные настроенные молодые люди, завязалась нешуточная драка, и вечер Сельвинский прекратил. Я тогда был очень возмущен поведением сторонников Маяковского.

Много десятков лет спустя, когда мне понадобилось писать для фаяировской истории литературы²⁶ 1930 год, я стал просматривать «Литературную газету» за 1929 год. В скупой хронике об этом вечере – ни слова о скандале и срыве...

Предупреждаю, что с трудом буду держаться хронологии событий, а буду излагать так, как они остались в памяти.

Зима 1930 года была лютая. Во время зимних каникул, то есть в феврале, я прочел в «Литературной газете» о том, что РАПП²⁷, в который в то время вошли и Маяковский, и Багрицкий, проводит поэтическую конференцию. Поскольку делать было особенно нечего, а вход был как будто объявлен свободным, я и отправился на улицу Воровского, 22, где это происходило. К моему удивлению, под заседание была отведена небольшая комната, и было, как мне показалось, вопреки ожиданиям, мало народу. Я больше смотрел, чем слушал. В первый и последний раз увидел Авербаха²⁸, который меня удивил своей полувоенной одеждой (позднее я узнал, что она называлась «вождевкой») и неприятным скрипучим голосом. Смотрел я с интересом на Сельвинского: меня удивило, что он был в валенках. Но больше всего меня обрадовало появление Багрицкого, любимого с «Юго-Запада» (1928) поэта, читанного и пере-

²⁶ Имеется в виду «История русской литературы», опубликованная во Франции по-французски в издательстве «Файяр». Первый том вышел в 1996 г.

²⁷ РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей (1925 – 1932).

²⁸ Леопольд Леонидович Авербах (1903 – 1937) – советский критик.

читанного неоднократно. Как сейчас помню «Контрабандистов», «От черного хлеба...», «Птицелова». Эти стихи погружали в прекрасный и веселый мир, которого не хватало в жизни.

Жилось трудно, маму уволили из Наркомпроса по сокращению штатов. С 1929 года все стало по карточкам. Только соевую колбасу (!) можно было (и то не уверен) купить без карточек. Мама как-то ухитрилась ее жарить на постном масле, и она становилась съедобной.

Так вот, в перерыв, а я сидел недалеко от Багрицкого, он меня спросил: «Вы пишете?» Я сказал: «Нет», и тогда он спросил, зачем я пришел на это совещание. Я сказал, что мне просто было интересно. Он удивился, но промолчал. А по поводу чьих-то прочитанных стихов повторил, видимо, привычную шутку: «Это уже поэзия».

14 апреля 1930 года на одной из школьных перемен мы узнали о самоубийстве Маяковского – и не поверили... Решились поехать на Воровского, 22 (бывшая Поварская), чтобы проверить. Поехали, кажется, втроем. Там, конечно, эту новость нам подтвердили. Прощаться с телом мы пошли, но на похоронах не были. Незадолго до этой страшной и непостижимой новости я был на выставке Маяковского (в феврале 1930-го) «Двадцать лет работы», было довольно много посетителей. Появился Маяковский, с виду чем-то недовольный. Его просили читать, он нехотя согласился и прочел «Во весь голос». Скажу честно, что я не готов был со слуха понять и оценить эти стихи. Само же самоубийство Маяковского, как и тогда, остается именно непостижимым и необъяснимым.

В восьмом классе (1929/30 учебный год) я стал жертвой школьной реформы, о которой сейчас немногие помнят. По инициативе ЦК комсомола, которой долго, но успешно сопротивлялся до своей отставки в 1929 году Луначарский, было решено старшие классы, начиная с восьмого, превратить в спецкурсы с различным, предпочтительно с математико-техническим, уклоном. Наша школа на некоторое время спаслась: для нее выбрали книжный, вернее книготорговый, уклон. Нам читали историю книги – и это было интересно, но, что уже мне совсем не понравилось, надо было проходить практику в книжных магазинах. Занятие скучное и почему-то неприятное.

И тут я совершил первое в своей жизни, как это тогда называлось, «правонарушение». В витрине магазина была выставлена очень заманчивая книга – «Мандельштам. Стихотворения. 1928». Они долго стояли, никто их не спрашивал, да и цена была очень большая по тому времени – 2 рубля! Мы жили на 50 рублей в месяц. Купить не было никакой возможности, и я украл – и не раскаиваюсь, столько радости на всю жизнь! Я взял тот экземпляр, который был на полке. В витрине еще долго стояла невостребованная книжка...

С неудовольствием вспоминаю, как нас послали в ноябрьские праздники 1930 года торговать на улице какими-то пропагандистскими книжками. Я чувствовал себя так неловко, так неумело, что не продал ни одной брошюры, пришел с ними домой, и мама помогла что-то продать среди соседей... До сих пор с конфузом вспоминаю это первое поражение в мире практики, а не литературы.

Где-то в седьмом классе я познакомился с Фридой Вигдоровой²⁹. Тогда это знакомство не перешло в дружбу, но, в свою очередь, познакомило меня с Мироном Бендером, очень тогда стопроцентным комсомольцем. Позднее, когда я сдружился с Шурой Раскиным³⁰, он был влюблен в Беллу Левандовскую, приезжую из Сибири, с литературными интересами. Белле негде было жить, и тогда Мирон предложил ей фиктивный брак и совместное жилье, которое он получил в ФЗУ. Естественно, что фиктивный брак стал фактическим, а Белла оказалась беременной. По слухам, ребенок был от Севы Иорданского, о котором расскажу уже теперь, хотя все это происходило уже после моего отъезда из Москвы. Сева был очень хорош собой, имел боль-

²⁹ Фрида Абрамовна Вигдорова (1915 – 1965) – советская писательница и журналистка, жена писателя А.Б. Раскина. Близкий друг семьи Серман.

³⁰ Александр Борисович Раскин (1914 – 1971) – советский писатель, сценарист, муж писательницы Ф.А. Вигдоровой. Близкий друг семьи Серман.

шой успех у девочек, был способным журналистом. Через него Шура познакомился с Морисом Слободским³¹, тогда только начинавшим журналистскую карьеру под руководством Севы. Но об этом скажу позже.

В это время наш девятый класс (1930/31 учебный год) решили слить с книготорговым, в просторечии «книжным» техникумом. Не помню, где он помещался, но предметы там были интересны и слушатели живые, так что эту перемену я принял спокойно.

Однажды, чуть ли не в середине лекции, открылась дверь и преподаватель ввел юношу в черной толстовке (такой тогда был ходовой наряд), в очках, немножко птичьей внешности, и сказал: «Это будет ваш товарищ, Шура Раскин». На перемене я как-то легко разговорился с новичком и выяснил, что он вместо того, чтобы ходить на занятия, играет в пинг-понг (тогда началось повальное увлечение этой новой игрой), но не просто играет, развлекается домашним образом, а играет вторым номером за команду журнала «Огонек». Журнал тогда редактировал Михаил Кольцов³², редактор талантливый и изобретательный. Он ввел впервые на страницах журнала «Викторину» – серию вопросов, ответы на которые печатались в следующем номере. Я каждый понедельник покупал новый журнал, и мы в седьмом классе соединенными усилиями искали ответов. Не помню, конечно, вопросов, кроме одного, почему-то особенно нас затруднившего: «Какого цвета новорожденный негр?» По смыслу вопроса было ясно, что не черного, но какого, мы, то есть наш класс, так и не решили.

Так вот, за команду этого прославленного журнала играл Шура, с которым мы подружились не на почве пинг-понга, а на любви к поэзии. Пленил меня Шура своим замечательным и непосредственным остроумием. Остроты у него появлялись мгновенно и всегда к делу. Запомнилась почему-то одна из оброненных им острот при взгляде на пару полных людей, явление тогда редкое: «родство туш», – сказал про них Шура. Я привел его к нам домой, он очень понравился маме, которая быстро поняла, что у него семейная неурядица, и сделала то, что она делала всю жизнь, – прежде всего его накормила!

Я побывал дома у Шуры, познакомился с его мамой, Ольгой Львовной, вторично разведенной и соответственно недовольной жизнью и поведением Шуры, которому она справедливо ставила в пример его младшего брата, отличника, дядю Витю³³, как он позднее фигурировал в общесемейных воспоминаниях. Дружба с Шурой стала одной из магистральных линий наших отношений, несмотря на отъезд из Москвы в Ленинград весной 1931 года.

Причиной отъезда был переход отчима³⁴ из инспекторов Наркомпроса в аспирантуру Пушкинского Дома, которую тогда возглавлял Луначарский, раз в месяц приезжавший в Ленинград и беседовавший со своими многочисленными аспирантами.

Так кончилось мое пятилетие московской жизни. Театральные воспоминания – это то небольшое, что сохранилось в памяти, но что очень трудно передать. Родителям я завидовал, так как они видели больше меня. Они восторгались «Горячим сердцем»³⁵ во МХАТе с Москвиным³⁶, и с особенным восторгом пришли после «Багрового острова»³⁷ в Камерном. Часто они ходили в Еврейский театр³⁸, куда меня взяли на спектакль «Колдунья»³⁹. Из него запомнился мужчина, очень весело игравший главную роль⁴⁰.

³¹ Морис Романович Слободской (1913 – 1991) – русский советский прозаик, драматург, сценарист.

³² Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд, псевдоним в Испании – Мигель Мартинес; 1898 – 1940) – советский публицист, журналист, писатель.

³³ Виктор Борисович Раскин (1917 – 1990) – брат А.Б. Раскина (см. примечание 24).

³⁴ Иван Иванович Векслер (1885 – 1954) – литературовед, специалист по творчеству А.Н. Толстого, отчим И.З. Сермана.

³⁵ Комедия А.Н. Островского в постановке К.С. Станиславского.

³⁶ Иван Михайлович Москвин (1874 – 1946) – всемирно известный, прославленный актер МХАТа.

³⁷ Пьеса была поставлена впервые 11 декабря 1928 г. в Камерном театре. Текст пьесы при жизни Булгакова издан не был.

³⁸ Еврейский театр был основан в 1920 г. и закрыт в 1949 г. в результате антисемитской кампании репрессий со стороны властей. Художественными руководителями являлись в разное время А.М. Грановский и С.М. Михоэлс.

Мне родители купили абонемент на утренники, и я ходил на все эти абонементные спектакли один, поскольку дело было днем – в воскресенье. В Малом театре я видел только «Любовь Яровую»⁴¹, где запомнился актер, кажется, Кузнецов⁴², игравший матроса Швандю – характерную, комическую роль.

Были исключения: в театр Вахтангова я попал на вечерние спектакли, уже не помню, как и почему. Я видел «Турандот»⁴³ во всем блеске тогда еще сравнительно свежего спектакля. Поразило начало – когда на глазах у зрителей под негромкую музыку вся труппа из каких-то цветных тряпочек и шарфов создает себе замечательные и очень убедительные условно-восточные костюмы. Это не был танец в полном смысле, но какое-то ритмизированное общее движение. Запомнилась Мансурова⁴⁴ со своим глубоким голосом и Завадский⁴⁵ – Калаф – строгий красавец, сбрасывавший в самый патетический момент какую-то обувь.

Другой спектакль у вахтанговцев был «Коварство и любовь»⁴⁶ – все происходило на фоне поставленного с наклоном серебряного пола. Было необыкновенно красиво, но как-то безжизненно, высокопарно, и никакого сочувствия к страданиям персонажей не вызывало, хотя решетка дворца помнится до сих пор – ведь все это сделал Акимов⁴⁷. И леди Мильфорд – коварная англичанка (постоянный персонаж немецкой драмы того времени) была очень эффектна...

Больше всего я перевидал в театре Мейерхольда⁴⁸. Понравился «Лес», особенно когда Аркашка-Ильинский⁴⁹ ловил воображаемую рыбу... Не понял, честно скажу, и потому не запомнил мейерхольдовского «Ревизора», а из «Горя уму» (так переименовал грибоедовскую комедию режиссер) запомнились два эпизода: разговор на равных Гарина⁵⁰ (Чацкий) и Царева⁵¹ (Молчалин). Оба во фраках, оба говорили, опираясь небрежно на створки калитки. Но главное – это был спор, а не высокомерное отношение одного к другому. Что больше всего поразило – это идея посадить всех, кроме Чацкого, за длинный стол параллельно рампе и заставить перебрасываться репликами клеветы через головы сидящих рядом. Много позднее я предположил, что Мейерхольд, много раз бывавший в Италии, воспроизвел в этой сцене «Тайную вечерю» Леонардо, но как-то руки не дошли проверить это предположение.

Понравился «Клоп», особенно Ильинский-Присыпкин, в тех действиях, которые происходили в современности. Очень удивило «будущее», то есть 1979 год, его изображали не то двадцать, не то тридцать молодых девушек в униформах, что-то отплясывавших...

Но, конечно, главное, оставшееся на всю жизнь впечатление, – это «Дни Турбиных», где-то в сезон 1926/27 года. Как я на них попал? Я дружил в седьмом классе с очень живым, веселым и приятным мальчиком Арнольдом Шапиро (погиб на войне!). У его отца была частная фотография, потом превращенная в кооперативную. Дом был веселый, а по вечерам можно было собираться в главном салоне, когда он пустовал. В этой фотографии снимался пожарник

³⁹ «Колдунья» – пьеса еврейского поэта и драматурга А. Гольдфадена (1840 – 1908).

⁴⁰ Главную роль играл актер еврейского театра Макс Шнеерович Рыбальский.

⁴¹ «Любовь Яровая» – пьеса К.А. Тренева в постановке режиссера И.С. Платона.

⁴² Степан Леонидович Кузнецов (1879 – 1932) – российский и советский театральный актер.

⁴³ Последний прижизненный спектакль Е. Вахтангова, поставленный им в 1922 г.

⁴⁴ Цецилия Львовна Мансурова (Воллерштейн) (1896 – 1976) – актриса, педагог.

⁴⁵ Юрий Александрович Завадский (1894 – 1977) – советский актер и режиссер, педагог.

⁴⁶ Пьеса Ф. Шиллера в постановке и оформлении Н.П. Акимова.

⁴⁷ Николай Павлович Акимов (1901 – 1968) – советский театральный режиссер, театральный художник, живописец и книжный график.

⁴⁸ Всеволод Эмильевич Мейерхольд (Карл Казимир Теодор Майергольд; 1874 – 1940) – русский советский театральный режиссер, актер и педагог. Теоретик и практик театрального гротеска, создатель знаменитой актерской системы, получившей название «биомеханика».

⁴⁹ Игорь Владимирович Ильинский (1901 – 1987) – советский актер, режиссер театра и кино.

⁵⁰ Эраст Павлович Гарин (Герасимов) (1902 – 1980) – советский актер, режиссер театра и кино.

⁵¹ Михаил Иванович Царев (1903 – 1987) – советский актер театра и кино, театральный режиссер.

из МХАТа. Старший Шапиро попросил пожарника, и он провел двух мальчиков, уже когда спектакль начался, и велел нам посидеть на ступеньках. Так мы все видели и многое запомнили. Особенно Лариосика. И когда позднее я видел Яншина⁵², то не мог ему простить его непомерной толщины.

В «Днях Турбиных» поражала полная достоверность того, что происходило на сцене. Вернее, это происходило не на сцене, а в жизни и иначе быть не могло. Запомнился Шервинский, немецкие офицеры, гетман со своей импозантной фигурой, сцена в штабе петлюровцев: как один из них, приблизив сапоги к телефону, кричал собеседнику: «Бачь, яки сапоги!»

Во втором МХАТе⁵³ я видел «Блоху»⁵⁴ по Лескову – чудное условно-кукольное представление; «Сверчок на печи»⁵⁵, от которого осталось только впечатление чего-то необыкновенно милого и утешительного. Зато «Петр I»⁵⁶ в том же театре, еще не переработанный по высочайшему указанию, был интересен и страшен. Актер, игравший Петра, кажется, Горюнов⁵⁷, так появлялся, что всегда оказывался на голову выше всех остальных актеров. Очень запомнилась сцена всешутейшего пьяного собора и особенно финальная сцена: Петр – один, волны наводнения подкатываются к его ногам, и впечатление неминуемой гибели города.

Особое впечатление на меня произвела Бабанова⁵⁸. У Мейерхольда она играла в драме Третьякова⁵⁹ «Рычи Китай» мальчика-китайчонка, который, уж не помню почему, решает повеситься и делает это на глазах у зрителей, но предварительно поет песенку, такую трогательную, такую щемящую... Это все, что запомнилось, а многое уже стерлось из памяти, видимо, ничем не задело. Так, ничего не помню из драмы Сельвинского «Командарм-2», а из пьесы Вишневского «Последний решительный» помню только пулемет, который стрелял (холостыми) в зал.

Еще, пожалуй, запомнилась Зинаида Райх⁶⁰ в костюме Гамлета в «Списке благодеяний» Олеси, как запомнилась идея пьесы – героиня ведет два списка: один – список преступлений советской власти, другой – список ее благодеяний. По тогдашнему времени все это было еще возможно, поскольку героиня, актриса Гончарова, едет на Запад и там находит только профанацию искусства и коварных белогвардейцев-эмигрантов. Олешу я любил, Олеше я удивлялся и был очень разочарован, когда уже в Ленинграде прочел его сценарий «Строгий юноша». Но все же в Олешу я верил, и эту веру в его талант поддерживали небольшие статейки-рассуждения, которые время от времени появлялись в журналах. От Олеси в целом веяло какой-то свежестью и очарованием осязаемого на вкус и крепость слова.

Вспомнился позабытый было спектакль (так тогда говорилось, а не постановка!) в театре Революции: «Человек с портфелем» Файко⁶¹, где главную роль, злого агента белогвардейцев-эмигрантов, играл Астангов⁶², а мальчика, его жертву, – какая-то молоденькая актриса. Впечатление от мелодраматического сюжета было сильное, хотя подробностей я уже не помню.

⁵² Михаил Михайлович Яншин (1902 – 1976) – советский актер театра и кино, режиссер.

⁵³ Драматический театр в Москве (1924 – 1936), до 1928 г. под руководством актера и режиссера Михаила Чехова (1891 – 1955).

⁵⁴ Режиссер постановки А. Дикий (1889 – 1955), художник Б.М. Кустодиев (1878 – 1927).

⁵⁵ Инсценировка по Ч. Диккенсу, режиссер Борис Михайлович Сушкевич (1887 – 1946).

⁵⁶ Пьеса А.Н. Толстого, режиссер Б.М. Сушкевич.

⁵⁷ Петра играл актер Владимир Васильевич Готовцев (1885 – 1976).

⁵⁸ Мария Ивановна Бабанова (1900 – 1983) – советская актриса театра и кино.

⁵⁹ Сергей Михайлович Третьяков (Гольдинген) (1892 – 1937; расстрелян) – русский публицист, драматург, поэт-футурист.

⁶⁰ Зинаида Николаевна Райх (1894 – 1939) – российская актриса, жена Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда.

⁶¹ Алексей Михайлович Файко (1893 – 1978) – русский советский драматург, режиссер постановки А. Дикий.

⁶² Михаил Федорович Астангов (1900 – 1965) – знаменитый советский актер театра и кино.

И совсем смутное впечатление оставил «Воздушный пирог» Ромашева⁶³. Что-то о нэпманах, их проделках и крахе.

Еще вспомнились «Рельсы гудят»⁶⁴ Киршона в театре МГСПС⁶⁵ (не знаю, как расшифровывалось), сюжет был – борьба красного директора железнодорожного депо и инженера из старорежимных, консерватора и рутинера. Побеждал, конечно, при поддержке рабочих «красный директор» – выдвиженец.

Не помню, но как-то по сюжету возникала нэповская квартира, и жена нэпмана, комический персонаж, делала вид, что читает Маркса!

Кажется, видел «Шторм» Билль-Белоцерковского – кажется потому, что полной уверенности у меня нет. В одной из пьес тогдашнего репертуара был постоянный персонаж – матрос-братишка, фигура героико-комическая, может быть, он появлялся в «Шторме», а может быть, в «Любови Яровой» Тренева в Малом театре.

Помню только, что долго интриговала меня афиша этой пьесы, которую я понимал буквально и не мог совместить эпитет «яровая» с существительным «любовь»...

Должен признаться, что чтение газет не всегда у меня складывалось удачно. Так, я очень увлекался фельетонами Сосновского⁶⁶ в «Правде». Они действительно были хороши в своем жанре. Он очень увлеченно писал о всяких достижениях крестьян-единоличников (еще не было идеи коллективизации!). Так вот, название одного из его фельетонов я прочел вслух, чем очень рассмешил родителей. Назывался он «Пафос сепаратора», а я прочел: «Пафос серпаптора».

Не знаю, кому принадлежала идея осуществить у нас в школе свою театральную постановку. Был приглашен, как позднее я понял, замечательный характерный актер МХАТа – Таскин⁶⁷. Выбор текста был не очень удачен: решили поставить сцену из «Мятежа» Фурманова. Долго репетировали и сыграли на общешкольном вечере с приглашением родителей. Таскин, который потратил много сил, чтобы создать на сцене «настроение», был недоволен, но зрителям очень понравилось.

Позднее, уже в 1950-е годы, я увидел Таскина в акимовской постановке «Дела» Сухово-Кобылина⁶⁸. Он играл «Очень значительное лицо», и играл прекрасно. Видимо, его ценили в театральных кругах.

Из московских музеев я любил Третьяковку и ходил туда часто, один или с кем-нибудь из школьных приятелей, но с особенной любовью я ходил в Музей новой живописи⁶⁹, собранный из шукинского и морозовского собраний. Тогда там не толпились туристы, и можно было спокойно смотреть, спокойно любоваться хорошими знакомыми. Так же, как в Третьяковке я любил Серова и Нестерова, так в Музее новой живописи мне почему-то полюбился Матисс, особенно его «Танец». Не знаю почему, эту любовь я долго хранил и тогда, когда Музей был закрыт, и картины из него перевезены в Ленинград и помещены на третьем этаже в Эрмитаже. Теперь я к Матиссу охладел и не чувствую той радости, какую он мне дарил в былые годы. Любил я тогда и мадмуазель Самари, а роскошные женщины Ренуара художественно к себе не располагали. К Сезанну я был равнодушен и в этой позиции так и остался, хотя Музей, весь

⁶³ Борис Сергеевич Ромашов (1895 – 1958) – советский драматург.

⁶⁴ Владимир Михайлович Киршон (1902 – 1938) – советский драматург.

⁶⁵ МГСПС – театр Московского городского совета профессиональных союзов, создан в 1923 г. литератором и режиссером С.И. Прокофьевым.

⁶⁶ Лев Семенович Сосновский (1886 – 1937) – российский революционер и советский политический деятель, журналист, публицист.

⁶⁷ Владимир Александрович Таскин (1894 – 1959) – советский актер.

⁶⁸ Спектакль в Ленинградском театре им. Ленсовета в постановке и оформлении Н.П. Акимова (см. примечание 41).

⁶⁹ Музей новой живописи – Музей нового западного искусства (1919 – 1948) был ликвидирован в 1948 г., фонды перевезены в ленинградский Эрмитаж.

как был, тоже, наверно, казался окном в Европу, [хотя] позднейшего ощущения духоты еще не было в воздухе.

Теперь вне хронологии хочу вспомнить, как я стремился прикоснуться к историческим личностям, прямо или косвенно, и что из этого выходило.

Насколько я помню, в 1926 году приезжали в Москву Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс. Ее я так и не видал, а Дугласа видел в кино в двух фильмах, которые покорили меня, со всеми мальчишками страны, в «Робин Гуде» и особенно в «Знаке Зорро». В этих фильмах не было кровавых убийств и бессмысленных драк, а была красивая ловкость и очаровательная мужественность главного героя.

Я не пошел к Белорусскому вокзалу, на который они приехали, а пошел к отелю «Савой», но только издали увидал машину, которая их привезла.

Неудачно я «встречал» Горького. Тут я поехал к Белорусскому вокзалу, но опоздал – Горького уже увезли.

Более удачно, чем я, съездила мама в 1927 году в Ясную Поляну. В Москву приехал французский министр просвещения и захотел побывать в Ясной. Тогда не было ВОКСа⁷⁰, специально для культурных связей и для агентурного наблюдения за приезжими иностранцами. Мама легко болтала по-французски (сказалось гимназическое воспитание!), и ее послали вместе с министром в Ясную. Из маминого рассказа о поездке я запомнил только финал: отвозила их на станцию дочь Льва Николаевича, Татьяна Львовна. Когда экипаж или сани были поданы, лошадь что-то заартачилась, и тогда Татьяна Львовна так на нее гаркнула, что мама не выдержала и восхитилась: «Ну и графинюшка!» – чем совершенно Татьяну Львовну не смутила.

Самой интересной для меня и вполне состоявшейся встречей со знаменитостью было посещение Радека⁷¹... Тут необходимо некоторое историческое отступление. Мама с 1906 до 1912 года жила в Лейпциге, там, будучи молодой и красивой, вращалась она в кругу немецких социал-демократов, была знакома с супругами Каутскими⁷² и с более молодыми деятелями этого круга – Карлом Либкнехтом⁷³ и Карлом Радеком. Когда в 1910 или 1911 году был изобретен сальварсан под № 666 и повсеместно рекламировался как панацея от сифилиса, то, как рассказывала мама, встретившись на улице, оба названных деятеля радостно обнялись.

С Радеком у мамы был роман, по-видимому, недолгий и дружески прекращенный. Во всяком случае, мама в Москве возобновила знакомство, посетила Радека с семейством на их квартире в Кремле, удивилась, что его десятилетняя дочка ходит в брючках (до этой моды нам еще было очень далеко!), и пригласила его к нам.

Он пришел один, был очень похож на газетно-журнальные фотографии, одну из которых я вырезал и показал маме рядом с фотографией Ларисы Рейснер⁷⁴, и тут мама позволила себе намек на роман между ними.

Итак, он пришел, просидел у нас часа два, говорил непрерывно на странной смеси русского, немецкого и польского языков. Мне запомнился его рассказ о том, как в 1923 году он сидел в Гамбурге в кафе, а напротив сидел генерал Сект⁷⁵, тогда – командующий рейхсвером

⁷⁰ ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей.

⁷¹ Карл Бернгардович Радек (Кароль Собельзон) (1885 – 1939) – советский политический деятель, деятель международного социал-демократического и коммунистического движения.

⁷² Карл Каутский (1854 – 1938) – немецкий экономист, теоретик классического марксизма; Луиза Каутская (1864 – 1944, Освенцим) – австро-немецкая левая политическая деятельница.

⁷³ Карл Либкнехт (1871 – 1919) – деятель германского и международного рабочего и социалистического движения, один из основателей коммунистической партии Германии.

⁷⁴ Лариса Михайловна Рейснер (1895 – 1926) – революционерка, участница Гражданской войны в России, журналистка, писательница.

⁷⁵ Ханс фон Сект (1866 – 1936) – немецкий генерал, один из офицеров, воссоздавших немецкую армию после Версальского договора.

(армией). И каждый из них думал: «А завтра я, может быть, тебя арестую...» Ничего больше я не помню, но мама позднее любила рассказывать, как я слушал этого гостя.

По его протекции, видимо, мы попали на выставку Алмазного фонда – она помещалась в Кремле. Там мне запомнился алмаз, которым персы заплатили за Грибоедова, и маленький поезд, копия того, который первым прошел по Великому Сибирскому пути. Вагончики все были из золота...

Знакомство, если его можно так назвать, с Радеком мне припомнили в 1938 году, когда возникло мое комсомольское «дело» о сокрытии родственных отношений с Радеком. Делавший тогда политическую карьеру Вася Чистов очень хотел доказать, что я сын Радека, но так как «доказать» это было невозможно, то по-настоящему меня можно было обвинить только в обмане комсомола при вступлении в него. В результате я был исключен на общефакультетском собрании, в актовом зале. Голосовали единогласно, все несколько сот человек, кроме Сони Донской, которая на вопрос, почему она воздержалась от голосования, заявила, что не убеждена в убедительности обвинения, мне предъявленного.

Большинство голосовало от полного равнодушия – такие исключения уже стали привычным делом. Иногда, правда, они разнообразились выступлением особо уполномоченных ораторов, призывавших к бдительности и разоблачению скрытых врагов. Некоторую остроту этим речам придавали последующие, скоростижные события. Так, выступал перед нами секретарь райкома комсомола, недавно назначенный, громил кого следует, а через две недели мы узнали, что он арестован и «оказался» врагом народа. Тогда это словечко «оказался» имело только один смысл... Этого несчастного секретаря мы совсем не знали, но очень театрально выглядел у нас в актовом зале [...] [Вспоминается также] речь Заковского, очередного начальника Ленинградского НКВД. Он выглядел нарядно и внушительно, был сравнительно молод и даже красив. Не помню, о чем именно он говорил, но тема могла быть одна и та же. И примерно через месяц мы узнаем из газет, что Заковский «оказался» – и каких только он не дождался эпитетов!

Мама долго сохраняла шутиливую открытку от Карла Либкнехта, где был изображен император Вильгельм II, и от его имени Карл что-то дружески писал маме. В 1937 году эта открытка и другие были мамой уничтожены. Как оказалось – напрасно, у нас дома никаких обысков не было.

Во время ареста Рунечки⁷⁶ взяли только пишущую машинку и иллюстрацию «Обнаженной махи», привезенную Додиком Прицкером⁷⁷ из Испании. Машинку после суда (поскольку у нас в приговоре не было конфискации имущества) вернули, а «Маху» – нет.

Итак, весной 1931 года начиналась новая жизнь в полумертвом тогда городе, с забитыми витринами на Невском, с редкими машинами на нем; а поселили нас на Петрозаводской улице, на Петроградской стороне, в доме, где помещалось собрание Н.П. Лихачева⁷⁸, разных каменных древностей, и одновременно помещалось аспирантское общежитие Академии наук.

Летом в саду за зданием шли увлеченные состязания в волейбол, в которых отличался аспирант – природный американский индеец, превосходно игравший и прекрасно говоривший по-русски. Позднее я узнал, что одним из активных волейболистов-любителей был Нобелевский лауреат Черенков⁷⁹.

Петрозаводская расположена параллельно Зелениной, и на ближайшем углу Зелениной и Геслеровского (давно уже Чкаловский) еще стояли какие-то руины, про которые петербургские старожилы объясняли, что это был трактир, изображенный в драме Блока «Незнакомка». Руины исчезли во время войны, сейчас тут сеть ларьков.

⁷⁶ Руфь Зернова (Руфь Александровна Зевина) (1919 – 2004) – русская писательница и переводчица, жена И.З. Сермана.

⁷⁷ Давид Петрович Прицкер (1917 – 1997) – историк, участник Испанской гражданской войны.

⁷⁸ Николай Петрович Лихачев (1862 – 1936) – русский историк, специалист в области источниковедения, дипломатики.

⁷⁹ Павел Алексеевич Черенков (1904 – 1990) – советский физик, лауреат Нобелевской премии за 1958 г. совместно с И.Е. Таммом и И.М. Франком.

В Ленинграде я было перевелся в Книжный техникум, ходил на лекции, проходил «практику» в книжном магазине на Большом проспекте Петроградской стороны, на углу этого проспекта и тогда улицы Розы Люксембург, а ранее – Рыбацкой. «Практика» мне быстро надоела, я дома очень жаловался на скуку, книг, в сущности, было очень мало. И тогда мама решила, что мне надо идти на завод и зарабатывать рабочий стаж, без которого в вуз не поступить... Осенью через какого-то знакомого инженера я поступил на завод «Знамя труда» № 1, который, как это ни удивительно, помещался тогда на проспекте Красных Зорь (какое поэтическое название!), недалеко от особняка Кшесинской и мечети. Потом он стал Кировским, а сейчас вернул себе старое название Каменноостровского.

На заводе я сначала чувствовал себя как-то неприкаянно, но вскоре был принят, вернее зачислен, в комсомол, перезнакомился с еврейской молодежью, как и я, зарабатывавшей себе стаж, и влился в коллективную жизнь, первоначально мне очень чужую. Как сейчас понимаю, все основные инженерные должности занимали евреи, и, по-видимому, это не вызывало ни озлобления, ни, как мне казалось, конкурентной борьбы. Вообще безработицы не было, а была категория рабочих-летунов, которые работали зиму, а на лето увольнялись и проводили время с приятностью.

Евреев-станочников было очень мало, только один Исаак Иоффе прославился на весь завод каким-то производственным рекордом.

Постоянное общение с товарищами по работе произвело на меня тогда очень неожиданное и странное впечатление. Я представлял себе пролетариат, особенно питерский, по его книжно-литературному портрету. Все оказалось не так: никаких идеологических интересов, ничего о политике, и не от страха, а просто от полного отсутствия интереса к тому, что выходило за пределы работы и домашних забот.

Напомню, что тогда существовала карточная система, по которой рабочие получали прилично, кроме того, они обедали в заводской столовой, где кормили без карточек и вполне прилично по тем временам. Время от времени менялся управляющий состав столовой – проворывался... Видимо, слишком велик был соблазн.

Несмотря на карточную систему и полное отсутствие магазинов, существовали только закрытые распределители, где [все] выдавалось по карточкам, работали пивные, где [свободно] продавалось пиво. Ближайшая пивная находилась на круглой площади и потому в просторечии называлась «полукруг». На заводе было только два окончательных алкоголика, из числа тех, которых жены стерегли в дни получки у проходной.

Еще была любопытная личность, некто Федя Урядников, спившийся боксер, почему-то полюбивший разговаривать со мной; главной темой его рассказов была история его отношений с еврейской девушкой, о которой он всегда вспоминал с сожалением, поскольку она его бросила, вероятно, из-за пьянства. Теперь Федя был слаб, держали его на работе скорей из жалости и под присмотром его молодых друзей.

Насколько мне не изменяет память, в 1933 году под влиянием газетной шумихи о стахановском движении⁸⁰ у нас возникла идея создать комсомольскую бригаду из трех человек и к 1 мая этого года собрать сверх плана три насоса из тех, что мы делали на заводе для химической промышленности. Мы работали с энтузиазмом и увлечением, перед 1 мая даже дополнительно в ночную смену, собрали насосы, но при последующей проверке они потекли, следовательно, были неудачно загерметизированы. Так неудачно кончился наш опыт стахановского движения; бригада наша распалась, и я перешел в ремонтный цех.

Среди зарабатывавших себе рабочий стаж выделялся своей отстраненностью от комсомола и всякой общественной работы Михаил (он предпочитал, чтобы его звали Майкл!)

⁸⁰ Массовое движение новаторов социалистического производства, последователей А.Г. Стаханова (1905 – 1977) – забойщика шахты в Донбассе, возникло в 1935 г.

Михайлов, вполне интеллигентный парень из спортивной семьи. И тут я узнал, что существует особый клан тренеров и преподавателей спорта, клан, где, собираясь в своем клубе, они говорят, в каком наряде появилась на последнем файв-о-клоке Марлен Дитрих и какие-то другие кинодивы. От Майкла, которому брат из заграничного турне привез костюм лондонского изделия (подумать только!), я узнал о его приятеле, молодом красавце Юре Чайковском, который жил за счет женщин, плененных его красотой, и у которого было 27 рубашек! Фантастическая по тем временам цифра. А способ его жизнеустройства был прост – он знакомился с молодыми женами пожилых ученых, всегда был свободен и всегда находил время, чтобы развлечь скучающую супругу вечно занятого ученого.

Поскольку у меня было две или три рубашки, экипировка Юры Чайковского мне казалась чем-то сказочным, так же как позднее два или три костюма Л.Л. Ракова, читавшего у нас античную историю.

А Майкл и его друзья жили какой-то особенной, непохожей жизнью. Видимо, тогда, до Кировского дела, на эту спортивную публику из-за ее полнейшей аполитичности не было обращено внимание соответствующих органов. Да и запрета на сношения с иностранцами, особенно спортсменами, еще не было. Майкл собирался после завода поступать в институт киноинженеров, что он успешно и осуществил, но я его больше не видел.

В театры я в это время почти не ходил: билеты закупали профсоюзы и раздавали бесплатно. Так я попал на «Недоросля» в Александринском театре, видимо, в разгар новаторских увлечений режиссера. Действие было перенесено в современную, конечно, буржуазную Францию. Помню только, что влюбленные, по-видимому, Милон и Софья, стояли на крыше хлева, из которого бутафорская корова задевала их то рогами, то хвостом.

На производстве, сначала на сборке насосов для химической промышленности, затем в ремонтном цеху, я не проявил особых талантов, только когда надо было прочесть сложный чертеж, я это мог сделать – пригодились школьные знания по черчению.

Читать в московских журналах, кроме Ильфа и Петрова, было нечего. Да и Зощенко, которого мы очень любили, сменил жанр и вместо веселого перешел на серьезное, вроде «Возвращенной молодости» (1933).

Недавно по неожиданному поводу вспомнилось мне одно действительно удивительное театральное впечатление – это «Страх» Афиногенова⁸¹ в Александринке в 1932 году. Пьеса открывалась следующей сценой. Беспартийный Кастальский (он к тому же «сын академика и сенатора») напевает, аккомпанируя себе на рояле. Он пел не романс на стихи Пушкина («Шли годы, бурь порыв мятежный...»), помещенный в печатном тексте пьесы, а модную, хотя и не очень официально одобряемую песенку:

О, эти черные глаза,
Кто вас полюбит,
Тот потеряет навсегда
И счастье, и покой...

Насколько я помню из комсомольской пропаганды того времени, когда я в 1931 – 1934 годах зарабатывал себе рабочий стаж, необходимый для поступления в высшие учебные заведения (вузы), такого рода романсы не поощрялись. Тогда советское звуковое кино стало внедрять в массы песни Дунаевского из «Веселых ребят» и из фильма «Встречный».

Выслушав пенье Кастальского, профессор Бородин, центральный персонаж «Страха», высказывает в сжатом виде свое философско-мировоззренческое кредо: «А хорошо ведь!

⁸¹ Александр Николаевич Афиногенов (1904 – 1941) – советский драматург; пьеса шла в постановке режиссера Николая Васильевича Петрова (1890 – 1964).

Какие про любовь песни поют, а? Ничего не поделаешь, вечный безусловный стимул. От первого утра первых людей до последней вечерней зари человечества – только любовь, голод, гнев и страх...»

Обращаю внимание на то, как поэтически выражается профессор Бородин, высказывая свою теорию стимулов: «первое утро первых людей» и «последняя вечерняя зоря человечества» – такие образные выражения в устах профессионального ученого удивительны и неожиданны. И далее Бородин еще настойчивее повторяет в сокращенном виде свое, как становится ясным по ходу пьесы, учение о стимулах: «Все людское поведение на четырех китах стоит. Люди любят, боятся, сердятся и голодают. А уж отсюда все остальное».

Настойчивое повторение Бородиным его теории четырех стимулов в начальной сцене драмы многозначительно. Драматург сразу возводит здание пьесы на нужную ему идеологическую высоту. Возможность такого философско-идеологического конфликта поднимает драму Афиногенова на нужный автору уровень эпохального спора.

Позволю себе высказать предположение, что Афиногенов имел в виду замечательного ученого и мыслителя В.И. Вернадского⁸². Как известно, Вернадский считал, что «философские системы как бы соответствуют идеализированным типам человеческих индивидуальностей, выраженных в формах мышления. Особенно резко и глубоко сказывается такое их значение в даваемой ими конкретной жизненной программе, в текущем их мировоззрении. Пессимистические, оптимистические, скептические, безразличные и т.п. системы одновременно развиваются в человеческой мысли и являются результатом одного и того же стремления понять бесконечное». Указанное в каком-то смысле отождествление философии с искусством приводит Вернадского к отделению от философии собственно *научного мировоззрения*.

Замечу, кстати, что с этим отождествлением философии и искусства в драме Афиногенова связана линия Вали, дочери профессора Бородина. Валя – скульптор. Бородин так говорит о своем влиянии на ее творчество: «Вот Валентина применила мою теорию стимулов в скульптуре, и у нее тоже вышла прекрасная вещь. Можете выдергать мне бороду, если она не получит первого приза на конкурсе». Интересно, что в этой реплике Бородина есть какая-то неточность: непонятно, к чему относится это словечко «тоже», о каких успехах говорит Бородин, которые можно сравнить с достижениями Вали в скульптуре? Созданная под влиянием теории стимулов Бородина статуя, когда с нее снимают покрывало, оказывается, согласно авторской ремарке, «беспредметной горой мускулов, тел, лиц...» И тут старая большевичка Клара объясняет Вале ее ошибку: «ты статую для нашего рабочего дворца вылепила, статуя должна чувства и мысли будить, а у тебя вместо мыслей на пять минут удивления... Брось, Валя, этого горбатого дядю и начни сначала».

⁸² Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945) – русский и советский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель XX в.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.